### Как умерла Рябушинская

#### Рэй Брэдбери

В холодном цементном подвале лежал мертвец — тоже холодный камень, воздух напитывал капли невидимого дождя. И люди собрались возле тела, словно вокруг утопленника, найденного поутру на пустынном морском берегу. Здесь, в подвале, было средоточие земного тяготения: чудовищная сила заставила лица поникнуть, губы — изломиться, оттянула вниз щеки. Руки безвольно висели, подошвы налились свинцом.

Раздался голос, но никто к нему не прислушался.

Голос позвал снова, прошло время, и лишь тогда люди повернулись и глянули вверх, словно в самом деле стояли на пустом ноябрьском берегу, а в сером рассвете высоко над их головами кричали чайки. Унылый крик; с ним птицы, почуяв неумолимую зиму, отлетают на юг. И слышался шум океана, далекий, словно шепот песка и ветра в морской раковине.

Люди посмотрели на стол; там лежал золоченый ящик двадцати с небольшим дюймов длины, и на нем было написано «РЯБУШИНСКАЯ». Они уставились на маленький гробик, поняв, наконец, что голос идет из-под крышки; лишь мертвый лежал на полу и не слышал приглушенных криков.

— Выпустите, выпустите же меня, ну, пожалуйста, ради бога, выпустите меня отсюда.

Наконец мистер Фабиан, чревовещатель, наклонился к ящику и шепнул:

— Нет, Риа, здесь серьезное дело. Потом. А пока — успокойся, ты же у меня умница.

Он закрыл глаза и попытался улыбнуться.

Пожалуйста, не смейся, — донесся из-под блестящей крышки спокойный голос. — После того, что случилось, ты мог бы быть и полюбезнее.

Детектив, лейтенант Кроувич, тронул Фабиана за локоть.

— Если не возражаете, оставим фокусы на потом. Сначала нужно закончить с этим.

Он посмотрел на женщину, что сидела на раскладном стуле.

— Вы — миссис Фабиан.

Потом взглянул на молодого человека, сидевшего рядом с женщиной.

— А он — мистер Дуглас, импресарио и пресс-агент мистера Фабиана?

Тот подтвердил. Кроувич поглядел покойнику в лицо.

— Итак, мистер Фабиан, миссис Фабиан, мистер Дуглас — вы все утверждаете, что не знаете этого человека, убитого здесь прошлой ночью, и что никогда прежде не слыхали фамилию Окхэм. Однако, Окхэм в разговоре с начальником станции заявил, что хорошо знает Фабиана и намерен обсудить с ним какой-то жизненно важный вопрос.

Из ящичка снова донесся голос.

— Черт побери, Фабиан! — взорвался Кроувич.

Под крышкой засмеялись, словно зазвенел вдали колокольчик.

— Не обращайте на нее внимания, лейтенант, — сказал Фабиан.

— На нее? Или на вас, черт возьми? Что там такое? Отвечайте вместе.

— Мы больше никогда не будем вместе, — донесся тихий голос. — После этой ночи — никогда.

Кроувич протянул руку.

— Дайте-ка мне ключ, Фабиан.

И вот в тишине скрипнул ключ, взвизгнули маленькие петли, крышка откинулась и легла на стол.

— Благодарю вас, — сказала Рябушинская.

Кроувич взглянул на нее и застыл, не в силах поверить своим глазам.

Лицо ее было белым, — оно было вырезано из мрамора или какого-то небывалого белого дерева. А может — из снега. И шея — словно карамель, словно чашка тонкого, почти прозрачного фарфора — тоже была белой. И на руках — из слоновой кости, наверное, — пальчики тонкие, и каждый оканчивался ноготком, а на подушечках был узор из тончайших линий и спиралек.

Вся она была — белый камень, и камень этот просвечивал, и свет подчеркивал темные, как спелая шелковица, глаза и голубые тени вокруг них. Лейтенанту вспомнились молоко в стакане и взбитый крем в хрустальной чаше. Темные брови изгибались узкими дугами, щеки — чуть впалые; виднелись-даже сосуды: розовые — на висках, голубой — на переносице, между сияющими глазами.

Губы ее были приоткрыты, будто она собиралась облизнуть их, ноздри и уши — вылеплены совершеннейшим мастером. Черные волосы были разделены пробором и зачесаны за уши — настоящие волосы, он видел каждую прядь. И платье было черным, как волосы, оно открывало плечи, изваянные из дерева белого, словно камень, долгие годы палимый солнцем. Она была прекрасна. Кроувич чувствовал, как шевелятся его губы, но так и не смог произнести ни единого слова.

Фабиан достал Рябушинскую из ящика.

— Моя прекрасная леди, — сказал он. — Вырезана из редчайшего заморского дерева. Она выступала в Париже, Риме и Стамбуле. Весь мир любит ее, и все думают, будто она — настоящий человек, что-то вроде невероятного маленького лилипута. Они не могут поверить, что она — всего лишь кусочек дерева, одного из тех, которые растут вдали от городов и идиотов.

Элис, жена Фабиана, неотрывно следила за губами мужа. За все время, что он говорил, держа в руках куклу, она ни разу не мигнула. А он не замечал никого, кроме куклы, словно и подвал и люди вокруг вдруг растворились в тумане.

Наконец фигурка дернулась в его руках.

— Пожалуйста, хватит обо мне. Ты же знаешь, Элис этого не любит.

— Элис никогда этого не любила.

— Ш-ш-ш!! Не надо! — крикнула Рябушинская. — Не здесь и не сейчас.

Потом она быстро повернулась к Кроувичу, и он увидел, как двигаются ее тонкие губы:

— Как все это случилось? Я имею в виду, с мистером Окхэмом?

— Лучше бы тебе поспать сейчас, Риа, — сказал Фабиан.

— Но я не хочу, — ответила она. — Я имею право слушать и говорить, я такая же деталь этого убийства, как Элис или... или мистер Дуглас!

Пресс-агент уронил сигарету.

— Не путайте меня в это, вы... — и он так глянул на куклу, словно она вдруг стала шести футов ростом и ожила.

— Я хочу, чтобы здесь прозвучала правда. — Рябушинская повертела головкой, осматривая подвал. — Если я буду заперта в своем гробу, ничего хорошего не выйдет, а Джон окончательно заврется, если я не стану следить за ним. Правда, Джон?

— Да, — ответил он, закрыв глаза, — похоже, так оно и есть.

— Джон любит меня больше всех женщин на свете; я тоже люблю его и наставляю на путь истинный.

Кроувич треснул кулаком по столу.

— Черт побери, черт вас побери, Фабиан! Если вы думаете, будто можете...

— Я ничего не могу поделать, — пожал плечами Фабиан.

— Но ведь она...

— Знаю, знаю, что вы хотите сказать, — тихо ответил Фабиан. — Что она у меня в гортани, да? А вот и нет. Не в гортани. Где-то еще. Я не знаю — где. Здесь или вот здесь, — и он тронул сначала грудь, потом голову.

— Она ловко прячется. Временами я ничего не могу поделать. Иногда она говорит сама по себе, и я тут совершенно не при чем. Часто она говорит мне, что я должен делать, и я слушаюсь ее. Она следит за мной, выговаривает мне; она честна, когда я нечестен, добра, когда я зол, а это бывает со всеми нами, грешными. Она живет своей, отдельной жизнью. В моем мозгу она построила стену и живет за нею, игнорирует меня, если я пытаюсь обернуть ее слова чепухой, и помогает, если я все правильно делаю и говорю. — Фабиан вздохнул. — Как хотите, а Риз должна остаться с нами. Было бы нехорошо отправлять ее в ящик, очень нехорошо.

Помолчав с минуту, лейтенант Кроувич принял решение.

— Ладно. Пусть остается. Попытаюсь, с божьей помощью, закончить раньше, чем устану от ваших трюков.

Кроувич развернул сигару, зажег ее, затянулся.

— Итак, мистер Дуглас, вы не узнаете убитого?

— Есть в нем что-то смутно знакомое. Может, он из актеров.

Кроувич чертыхнулся.

— А если без вранья? Взгляните на его башмаки, взгляните на одежду. Он явно нуждался в деньгах и явился сюда просить, вымогать или украсть что-то. Кстати, позвольте вас спросить, Дуглас, миссис Фабиан — ваша любовница?

— Кто дал вам право!.. — крикнула миссис Фабиан.

Кроувич не дал ей продолжить:

— Вы сидите рядом, бок о бок. Я еще не совсем ослеп. Когда пресс-агент сидит там, где должен сидеть муж, утешая жену, что, по-вашему, это означает? Я видел, как вы смотрели на ящик, как у вас перехватило дыхание, когда она появилась на свет. И как вы сжали кулаки, когда заговорила она. Черт побери, вас же насквозь видно.

— Если вы хоть на минутку подумали, что я ревную к куску дерева...

— А разве нет?

— Конечно же, нет!

— Ты вовсе не обязана что-либо рассказывать, Элис, — заметил Фабиан.

— Пусть говорит!

Теперь все смотрели на маленькую фигурку. Та безмолвствовала. Даже Фабиан глядел на нее так, будто она его укусила.

Наконец Элис Фабиан заговорила.

— Я вышла замуж за Джона семь лет назад. Он говорил, что любит меня, а я любила и его; и Рябушинскую. Сначала, во всяком случае. Но потом я стала замечать, что большую часть времени и внимания он отдает кукле, а я, обреченная ждать его ночи напролет, становлюсь лишь тенью.

На ее гардероб он тратил по пятьдесят тысяч долларов в год, потом купил за сто тысяч кукольный домик — вся мебель в нем была из золота, серебра и платины. Каждую ночь, укладывая ее в маленькую постель, он разговаривал с нею. Поначалу я принимала все это за тонкую шутку и даже умилялась. Но наконец до меня дошло, что я нужна ему лишь как ассистент в этой игре и почти возненавидела — не куклу, конечно, она-то ничего не знала, а Джона — ведь это была его игра. В конце концов, это он управлял куклой, это его ум и природное дарование воплощались в деревянном тельце.

А потом — какая глупость! — я и в самом деле начала ревновать его. Чем еще я могла отплатить ему? А он с еще большим рвением совершенствовал искусство. Это было и глупо и странно. Тогда мне стало ясно — что-то подстегивает его, вроде как у пьяниц — сидит внутри ненасытный зверь и понуждает напиваться.

Так я и металась между гневом и жалостью, между ревностью и сочувствием. Временами моя злость совсем угасала, и уж конечно я никогда не питала ненависти к той Риа, что жила у него в сознании — ведь это была его лучшая часть, добрая, честная и даже очаровательная. Она была тем, чем он сам никогда не пытался стать.

Элис Фабиан умолкла, и в подвале снова наступила тишина.

— Теперь расскажите о мистере Дугласе, — послышался шепот.

Миссис Фабиан даже не взглянула на куклу.

— Прошло несколько лет, и я, не дождавшись от Джона ни любви, ни понимания, естественно, обратилась к... мистеру Дугласу, — с усилием закончила она.

Кроувич кивнул.

— Все становится на свои места. Мистер Окхэм был очень беден, находился в отчаянном положении и пришел сюда, потому что знал о ваших отношениях с мистером Дугласом. Возможно, он угрожал рассказать об этом мистеру Фабиану, если вы не откупитесь от него. Вот вам веская причина от негу избавиться.

— Глупее не придумаешь, — утомленно проговорила Элис Фабиан. — Я его не убивала.

— Мистер Дуглас мог сделать это втайне от вас.

— А зачем убивать? — спросил Дуглас. — Джон и так все знал.

— Конечно, знал, — смеясь, подтвердил Джон Фабиан.

Посмеявшись, он надел белоснежную куклу на руку: ее рот открылся и закрылся снова. Он пытался заставить ее рассмеяться вслед за собой, но с ее губ не слетело ни звуча, только неслышимый шепот. Фабиан уставился на маленькое лицо, пот выступил на его висках.

На другой день лейтенант Кроувич пробрался через темные закоулки кулис, поднялся, стараясь не поломать ноги, по железной лестнице, где каждую ступеньку надо было искать ощупью, и вышел к актерским уборным. Он постучал в одну из тонких дверей.

— Войдите, — словно издалека донесся голос Фабиана.

Кроувич вошел, притворил дверь и остановился, глядя на приникшего к зеркалу человека.

— Я хочу вам показать кое-что, — сказал детектив.

Со спокойным лицом он открыл папку из манильской соломки, достал глянцевую фотографию и положил на гримерный столик.

Джон Фабиан поднял брови, глянул искоса на Кроувича и откинулся на спинку стула. Взявшись за переносицу, он стал осторожно, как при головной боли, массировать ее. Кроувич взял фотографию, перевернул и начал читать сведения, отпечатанные на обороте.

— Имя — мисс Иляна Рямонова. Вес — сто фунтов. Глаза синие. Волосы черные. Лицо овальной формы. Родилась в Нью-Йорке в 1914 году. Исчезла в 1934 году. Подвержена приступам амнезии. По происхождению — русская. И так далее, и так далее.

Губы Фабиана дернулись.

Кроувич вернул фотографию на столик и задумчиво покачал головой.

— Конечно, с моей стороны, было глупо разыскивать в наших досье фотографию куклы. БОЖЕ МОЙ, то-то потешились надо мной в управлении. Но как бы то ни было, вот она — Рябушинская. Не папье-маше, не дерево, не кукла, а женщина, которая жила среди нас, а потом исчезла. — Он посмотрел Фабиану прямо в глаза. — Что вы на это скажете?

Фабиан слабо улыбнулся.

— Почти ничего. Когда-то, давным-давно, мне попался на глаза женский портрет. Лицо мне понравилось, и взял его для своей куклы.

— «Почти ничего»... — Кроувич глубоко вздохнул, достал большой платок и вытер лицо. — Фабиан, все нынешнее утро я рылся в подшивках «Биллборда». В одном из номеров за тридцать четвертый год я обнаружил любопытную статью о выступлениях второразрядной группы. «Фабиан и Душка Уильям». Последний был куклой, изображавшей маленького мальчика. Там писали и об ассистентке, Иляне Рямоновой. В журнале не было ее фотографии, но я получил, наконец, имя... имя реальной особы. Излишне говорить, что такое сходство между куклой и живой женщиной не может быть случайным. Уверен, что теперь вы расскажете вашу историю по-другому, Фабиан.

— Да, одно время она была моей ассистенткой. Я просто использовал ее как модель.

— С вами, пожалуй, вспотеешь, — сказал детектив. — Вы что — болваном меня считаете? Думаете, что я не узнаю любовь, даже если ее поставят прямо передо мною? Я же видел, как вы обращаетесь с куклой, как вы разговариваете с нею и что заставляете отвечать вам. Вы влюблены в эту куклу потому, что очень, ОЧЕНЬ любили ее оригинал, реальную женщину. Я достаточно опытен, чтобы почувствовать это. Черт побери, Фабиан, хватит запираться.

Фабиан поднял свои тонкие бледные руки, повертел ими, осмотрел их и позволил им упасть вдоль тела.

— Хорошо... В 1934 году я выступал с Душкой Уильямом — куклой, изображавшей мальчишку с носом-картошкой. Я сам сделал его. Я гастролировал в Лос-Анджелесе, и однажды вечером ко мне пришла эта девушка. Она годами следила за моими выступлениями. У нее не было работы, и она надеялась поступить ко мне в ассистентки...

Он вспомнил, как был поражен ее свежестью и пылкой готовностью работать с ним и для него и как в полутемной аллее позади театра неслышно сыграл прохладный дождик, и его капли вспыхивали, словно блестки на ее теплых волосах, на фарфоровых руках и, словно ожерелье, на воротнике пальто.

Он различал в полутьме движение ее губ, слушал ее голос, странно отделенный от уличного шума. Он помнил все, что она говорила, и хотя он не ответил ни «да» ни «нет», она вдруг оказалась рядом с ним на сцене, облитая светом прожекторов. А два месяца спустя он — вполне довольный привычным своим неверием и цинизмом — бросился вслед за нею туда, где нет ни дна, ни берегов, ни света.

А потом были ссоры — и снова ссоры, после которых уже не было ни прежних чувств, ни прежнего огня. Он шумел, срывался на истерики — а она все больше отдалялась от него. Один раз, в припадке ревновать он сжег все ее платья. Она приняла это совершенно спокойно. Но однажды вечером он выплеснул на нее все, что накопилось за неделю, обвинил ее в чудовищных грехах, схватил, ударил по лицу, еще и еще раз, вышвырнул за дверь...

И она исчезла.

На следующий день его словно громом поразило — он понял, что она и в самом деле ушла навсегда, что ее уже не найти. Мир стал плоским, по ночам его будили отголоски прежнего грома, по утрам, на рассвете — тоже, тогда он поднимался, и его оглушали шипение кофеварки, вспышка спички, потрескивание сигареты, а когда он подходил и зеркалу, пытаясь побриться, там отражалось нечто искаженное и отвратительное.

Он бросил выступать, завел альбом и вклеивал туда все, что ее касалось — и афиши, и записи того, что он слышал о ней, и свои газетные объявления, в которых он умолял ее вернуться. Он даже нанял частного детектива. Люди говорили. Полиция до изнеможения допрашивала его. Слов было много.

Но она пропала, как воздушный змей в ясном небе. Ее след затерялся в больших городах, и полиция оставила поиски. Но не Фабиан. Умерла ли она, просто ли убежала, но ведь где-то она была, а значит, ее можно было найти и вернуть.

Однажды вечером он сидел у себя дома, смотрел в темноту и разговаривал с Душкой Уильямом.

— Уильям, все кончено. Я больше не могу!

— Ты трус! Трус! — донеслось из темноты. — Ты можешь вернуть, если захочешь!

Душка Уильям трещал и бил в ладоши.

— Сможешь, сможешь. Думай! — настаивал он. — Думай лучше. Ты сможешь. Отложи меня, запри меня. Начни все с самого начала.

— Все с самого начала?

— Да, — шепнул Душка Уильям. — Да. Купи дерево. Купи чудесное заморское дерево. Купи твердое дерево. Купи прекрасное молодое дерево. И вырезай. Вырезай медленно, вырезай тщательно. Строгай его... Осторожно... Сделай маленькие ноздри. Тонкие черные брови ее сделай высокими, изогнутыми, словно арки, а щеки пусть будут чуть впалыми. Вырезай, вырезай...

— Нет! Это безумие. Я никогда не сумею!

— Сумеешь. Ты сумеешь, сумеешь, сумеешь, сумеешь...

Голос умолкал, как журчание реки, уходящей в подземное русло. Эта река накрыла их и поглотила. Его голова упала на грудь Душки, Уильям вздохнул. И вскоре оба они лежали, не двигаясь, словно камни под водою.

Следующим утром Джон Фабиан купил брусок самого лучшего твердого дерева, какое только смог найти, принес его домой, положил на стол и больше в этот день не притронулся к нему. Он часами сидел, глядя на брусок. Невозможно было представить, что вот из этой холодной деревяшки его руки и память смогут воссоздать нечто теплое, гибкое и знакомое. Нельзя создать даже слабое подобие дождя, или лета, или капель от первого снега на оконном стекле декабрьской полночью. Нельзя, невозможно поймать снежинку без того, чтобы она тотчас же не растаяла в грубых пальцах.

В ту ночь Душка Уильям снова вздыхал и шептал:

— Ты сможешь. Да, да, ты сможешь!

И он решился. Целый месяц он вырезал руки, и они вышли прекрасными, как морская раковина на солнце. Еще месяц — и из дерева, словно окаменелость из земли, был освобожден слабый очерк ее тела, трепетный и невероятно тонкий, как сосуды в белой плоти яблока.

Все это время Душка Уильям лежал и покрывался пылью в своем ящике, все более напоминающем настоящий гроб. Душка Уильям брюзжал, саркастически скрипел, иногда критиковал, иногда намекал, иногда помогал, но все это время — умирал, затихал, уже не знал ласковых прикосновений, словно оболочка куколки, покинутая бабочкой и несомая порывами ветра.

А недели шли и Фабиан строгал, резал, полировал дерево. Душка Уильям лежал, окутанный тишиной, и однажды, когда Фабиан взял старую куклу в руки, Уильям недоуменно посмотрел на него и издал смертный хрип.

Так погиб Душка Уильям.

Пока он работал, его гортань огрубела, отвыкла повиноваться — звуки получались тихие, словно далекое эхо или шелест ветерка в густой кроне. Но стоило ему надеть на руку новую куклу, как в пальцы вернулась память, перетекла в дерево — и тонкие ручки согнулись, тельце вдруг стало гибким и послушным, глаза открылись и взглянули на него.

Маленький ротик приоткрылся на долю дюйма, она была готова заговорить, и он знал все, что она ему скажет — и первое, и второе, и третье слово — то, что он хотел от нее услышать. Шепотом, шепотом, шепотом.

Она послушно — так послушно! — повернула свою головку и заговорила. Он наклонился к ее губам и уловил теплое дыхание — ДА, ДА, дыхание! Он прислушался, закрыв глаза, и ощутил мягкие... нежные биения ее сердца.

С минуту Кроувич сидел молча.

— Ясно. Ну, а ваша жена? — спросил он наконец.

— Элис? Конечно же, она была следующей моей ассистенткой. Работала она плохо и, помоги ей боже, любила меня. Сам не пойму, зачем я женился на ней. С моей стороны это было нечестно.

— А что вы скажете об убитом — об Окхэме?

— Я ни разу не видел его, пока вы не привели нас в подвал и не показали тело.

— Фабиан... — сказал детектив.

— Это правда!!

— Фабиан!

— Правда, правда, черт побери! Клянусь, это чистая правда!

«Правда». — С таким шепотом море набегает на серый утренний берег и откатывается, оставляя на песке великолепное пенное кружево. Небо — пустынно и холодно. На берегу нет ни души. Солнце еще не встало. И снова шепот: «Правда».

Фабиан выпрямился в кресле, вцепившись в колени тонкими пальцами. Лицо его застыло. Кроувич, как и вчера, поймал себя на желании глянуть в потолок, словно в ноябрьское небо, где кругами летает одинокая птица, серая в холодном сером небе.

— Правда... — И снова, затихая, — правда...

Кроувич встал и бесшумно прошел в угол, где стоял открытый золоченый ящик, а в нем лежало то, что шептало и разговаривало, иногда могло смеяться, а иногда — петь. Он взял ящик, поставил его перед Фабианом и подождал, когда тот вложит пальцы в тонкие гладкие пустоты, когда дрогнут маленькие губы и откроются глаза. Ему не пришлось долго ждать.

— Месяц назад пришло письмо...

— Нет...

— Месяц назад пришло письмо.

— Нет, НЕТ!

— Там было написано: «Рябушинская, родилась в 1914 году, умерла в 1934-м. Снова родилась в 1935-м». Мистер Окхэм был фокусником. Было время, он выступал в одной программе с Джоном и Душкой Уильямом. Он вспомнил, что сначала была живая женщина, а потом — появилась кукла.

— Нет, это неправда!

— Правда, — отвечал голос.

Снег падает тихо, но еще тише было сейчас в комнате. Губы Фабиана дрожали, он уставился в глухую стену, словно отыскивая в ней дверь, через которую можно убежать.

— Ради бога...

— Окхэм угрожал рассказать о нас всему свету.

Кроувич видел, как двигались губы куклы, как она трепетала, как пульсировали зрачки Фабиана, как судорога сводила его шею, пытаясь задушить этот шепот.

— Я... Я была здесь, когда явился мистер Окхэм. Лежала в своем ящике и слушала. Я все слышала и я все знаю. — Голос потух, потом снова окреп и продолжал: — Мистер Окхэм грозил сломать меня, сжечь дотла, если Джон не заплатит ему тысячу долларов. А потом послышался удар. Крик. Чья-то голова, должно быть, мистера Окхэма, ударилась об пол. Я слышала, как Джон кричал, ругался, рыдал. Я слышала тяжелое дыхание и хрип.

— Ничего ты не слышала! Ты мертвая, слепая! Ты деревяшка! — закричал Фабиан.

— Но я же слышу, — сказала она и замолкла, словно кто-то зажал ей рот.

Фабиан вскочил на ноги и теперь стоял с куклой на руке. Ее губы разомкнулись, дважды, трижды и наконец произнесли:

— Потом хрип оборвался. Я слышала, как Джон волок мистера Окхэма вниз по ступеням в подвал, где много лет назад были гримерные. Вниз, вниз, вниз, я слышала, как он уходит все дальше и дальше — вниз...

Кроувич отшатнулся, словно он смотрел кино и персонажи вдруг стали расти и сходить с экрана. Странные, чудовищные, они тянулись выше башен, грозили раздавить его. Пронзительный крик заставил его обернуться.

Он увидел оскал Фабиана, его гримасы, шепот, судорогу. Он увидел, как тот стиснул веки.

Теперь голос звучал тонко, на высокой, почти неслышной ноте.

— Я не могу так жить. Не могу... Больше у нас ничего не будет. Все и каждый будут знать. Прошлой ночью, когда ты убил его, я спала, дремала. Но я уже знала, уже понимала. Мы оба знали, оба понимали, что это наш последний день, последний час. Я могла жить рядом с твоими пороками; рядом с твоей ложью, но я не могу жить бок о бок с убийством. Отсюда нет выхода. Как я могу жить рядом с этим?..

Фабиан поднес ее к свету, что пробивался сквозь маленькое окошко. Его рука дрожала и эта дрожь передавалась кукле. Ее рот открывался и закрывался, открывался и закрывался, открывался и закрывался, снова и снова, и снова молчание.

Фабиан недоверчиво потрогал свои губы. Глаза его остекленели. Он видел, как человек, который потерялся на чужой улице, и теперь пытается вспомнить номер нужного дома, найти окно со знакомой занавеской. Он качался, глядел на стены, на Кроувича, на куклу, на свободную руку, сгибал пальцы, трогал горло, открывал рот. Он прислушался.

Далеко-далеко, за многие мили, из моря поднялась волна и упала, пенясь. Кукла двигалась беззвучно, безвольно, словно тень.

— Она умерла. Совсем умерла. Я не могу ее найти. Я пытаюсь изо всех сил, пытаюсь, но она ушла слишком далеко. Вы мне поможете? Вы поможете мне найти ее? Поможете? Ради бога, помогите мне найти ее.

Рябушинская соскользнула с его ослабевшей руки, перевернулась и беззвучно раскинулась на холодном полу; глаза — закрыты, губы — сжаты.

Фабиан даже не взглянул на нее, когда Кроувич уводил его.